

плачу» (из письма Н. Н. Страхову, февраль 1881 г.) [6, с. 438]. Противоречия рецепции Ф. Достоевского Л. Толстым отражают противоречия его авторецепции.

-
1. Достоевский Ф. М. Бесы // Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1974. Т. 10.
 2. Достоевский Ф. М. Сон смешного человека // Там же. 1983. Т. 25.
 3. Назиров Р. Г. Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе: сравнительная история фабул : дис. в виде науч. докл. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1995.
 4. Сухотина-Толстая Я. Т. Из воспоминаний: Как мы с отцом решали земельный вопрос // Толстой и о Толстом: Новые материалы / Толстовский музей. М., 1924.
 5. Толстой Л. Н. Записки сумасшедшего // Собр. соч. : в 22 т. М., 1982. Т. 12.
 6. Толстой Л. Н. Письма к В. Г. Черткову. 1905–1910 // Полн. собр. соч. : в 90 т. М., 1928–1958. Т. 89.

В. Г. Щукин

г. Краков (Польша)

Часы и чай: заметки о событийном времени в художественном мире Ф. М. Достоевского

Как известно, Ф. М. Достоевский, закончивший Инженерное училище и превосходно разбиравшийся в математике и научном проектировании, был человеком необыкновенно точным и предельно конкретным. И потому мы точно знаем, что дом портного Капернаутова, в котором снимала комнату Соня Мармеладова и где поселился Аркадий Иванович Свидригайлов, стоял на углу Екатерининского канала и Малой Мещанской и что от дома Раскольников до дома, где жила Алена Ивановна, ровным счетом 730 шагов.

Создавая свои произведения, Достоевский делал это вполне «умышленно», по хорошо продуманному плану [19], и нет ничего удивительного в том, что он привык математически измерять не только жизненное пространство, в котором действуют его герои, но и время всех предполагаемых событий, тесно связанное с поступками героев. В данном случае

речь идет о наиболее житейской, эмпирической разновидности романного времени. Его можно назвать *событийным* или *хроникальным* временем. Впрочем, Д. С. Лихачев называл его *летописным*, чтобы отличить от более размеренного и отвлеченного от ежедневной «текучки» эпического времени [12, с. 80–95]. В сложной многоступенчатой иерархии изображаемых художником временных планов над событийным временем возвышаются все более масштабные, все в большей степени всеохватывающие разновидности времен:

– *биографическое*, вмещающее в себя всю жизнь человека от начала до конца;

– *историческое*, растягивающееся на века и тысячелетия (но не более того), на протяжении которого рождаются, живут и умирают цивилизации, народы и государства;

– *метаисторическое*, а иными словами, *мифическое* или *сверхэпохальное*, которое охватывает достоверную и мифическую «биографию» всего рода человеческого — от баснословных времен, о которых «помнят» лишь фундаментальные комплексы коллективно-бессознательной программы человечества — юнговские архетипы, до столь же баснословных представлений и предчувствий о конце света или о завершении земной жизни вида *Homo sapiens*;

– *метафизическое* или *священное*, в плоскости которого разыгрываются важнейшие события священной истории не одного лишь человечества, а всей Вселенной, начиная с состояния «до зарождения / сотворения мира» и кончая состоянием *вечности* — благодного вечного покоя или нирваны, которое наступит после кончины исчерпавшего себя нашего мира, но не многочисленных миров иных, о которых, однако, даже нашим богам ничего не ведомо...

В данном случае, однако, нас будет интересовать самое простое из упомянутых времен — *событийное*, делящееся на часы и минуты, измеряемое при помощи простых механических или электронных часов. Начиная с XIV в. в Западной Европе на башнях соборов появляются созданные человеком механизмы, которые измеряют время — субстанцию, принадлежавшую, как утверждала Церковь, только Богу, «движущуюся вечность» [1, с. 174; 11, с. 190–197]. Доселе звон монастырского колокола, приуроченный к той или иной поре суток, распознаваемой приблизительно по положению солнца, оповещал окрестные города и веши о наступлении времени той или иной молитвы. Иного рода «часами» измерялось время феодалов: это были звуки военных труб и охотничьих рогов [11, с. 187]. Теперь же время стали измерять гораздо точнее и не

только затем, чтобы не пропустить добычу или вовремя помолиться. Время стали *беречь*, его боялись *потерять*, как боялся потерять золотой браслет или жемчужное ожерелье, потому что торговавшие и за счет торговли богатевшие горожане поняли, что время — это деньги. Вовремя успеть означало не продешевить. Сакральное или «библейское» время, приближавшее человечество лишь к спасению или вечному проклятию, сменилось временем купцов [11, с. 191–204]. Оставался один шаг до ренессансного антропоцентризма, и после появления первых признаков механистического отношения ко времени этот шаг был сделан.

Упоминание конкретного часа мы встречаем уже в четвертом предложении самого первого оригинального произведения Достоевского — романа «Бедные люди»:

Вечером, часов в восемь (здесь и далее в цитатах разрядка моя. — В. Ш.), просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать после должности), свечку достал, приготавливаю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, — право, у меня сердце вот так и запрыгало! Так вы-таки поняли, чего мне хотелось, чего сердешку моему хотелось! Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзамином, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали [5, с. 13].

Таким образом, самый первый эпизод, возникший в воображении писателя, относится к той разновидности неожиданных и волнующих событий, которую исследователи называют «*Вдруг* у Достоевского» [18] и для которой сам он в конце жизни придумает превосходное обозначение — «такая минутка». Именно так называется та вторая глава седьмой книги «Братьев Карамазовых», в которой после появившегося после смерти старца Зосимы «тлетворного духа» Алексей Карамазов в смятении бежит из монастыря и «вдруг» встречает Ракитина, которому удастся не только накормить послушника колбасой и напоить водкой, но и ответить к блуднице Грушеньке.

Однако такого рода «минутки» появляются лишь в отдельных кульминационных моментах сюжетов Достоевского. В «Бедных людях» к ним относится, к примеру, эпизод с упавшими на пол книгами студента Покровского, которые влюбленная в него Варенька упускает из рук [5, с. 35–37], или эпизод с пуговицей, оторвавшейся от мундира Макара Алексеевича Девушкина в тот самый момент, когда он предстает перед глазами его превосходительства Евстафия Ивановича [Там же, с. 91–94]. В целом же события, описываемые в «Бедных людях», протекают по

законам скучновато-размеренного «времени натуральной школы», представляющего собой унылую череду серых однообразных будней. Недаром Варенька не без радости замечает в конце своего последнего письма: «Вот и кончилось это время» [5, с. 106].

Иначе все это выглядит в повести «Двойник», где разворачивается детективно-феерический сюжет с тайнами и неожиданными поворотами действия, происходящего в фантазмагорическом мире с характерной для него inferнальной подсветкой (кстати, в «Двойнике» тринадцать глав — «чертова дюжина»). «Таких минуток» в этой «петербургской поэме» гораздо больше, чем в «Бедных людях». И поэтому господин Голядкин гораздо чаще, начиная с первого дня, когда он ждет *пяти часов пополудни* — времени званого обеда у Олсуфия Ивановича, довольно часто смотрит на часы. В дальнейшем, когда фантазмагория разворачивается в полную силу, часы начинают бить даже тогда, когда точное время знать и не обязательно. Например, в *девятой* главе Голядкин ждет слугу Петрушку, «а между тем уже *девять часов*» [7, с. 178]. Герой, не дождавшись, в нервном напряжении ложится спать, но среди ночи просыпается и слышит, как Петрушка храпит за перегородкой.

Господин Голядкин вскочил, встрепенулся и вспомнил всё, решительно всё. За перегородкой раздавался густой храп Петрушки. Господин Голядкин бросился к окну — нигде ни огонька. Отворил форточку — тихо; город словно вымер, спит. Стало быть, *час а два или три*; так и есть: часы за перегородкой понатужились и пробили два [Там же].

Чем большее нервное напряжение испытывает герой, тем чаще он замечает часы. Ведь это только «счастливые часов не замечают»...

Даже в «Белых ночах», где повествование спокойнее и общее настроение гораздо светлее, чем в «Двойнике» (ведь это «сентиментальный роман»), часы также играют немаловажную роль. В жизни главных героев — Мечтателя и Настеньки — на протяжении четырех ночей повторяется один и тот же счастливый момент — *десять часов вечера*, когда они встречаются на набережной канала. Но когда они по необъяснимым причинам решают прийти к назначенному месту на час раньше, в девять, т. е. «изменить время» (а может быть, *изменить «своему» времени?*), как идиллия их свиданий немедленно рушится. Ровно через час после роковой последней встречи — в десять часов, как и было когда-то назначено, на набережной появляется Настенькин жених. В современном большом городе даже идиллия расписана по часам!

В пределах создаваемой Достоевским романной модели мира подобным образом строится экзистенциальный модус, т. е. «реальное»,

житейское существование не «карнавальных» пьяниц и разгильдяев (таких, как Мармеладов, генерал Иволгин, капитан Лебядкин или даже более серьезный и глубокий характер — Дмитрий Карамазов), а наиболее деятельных героев, даже если их действие сводится к чисто идеологическим задачам — я имею в виду пресловутое «мысль разрешить». Кто же такие эти герои? Это люди не «карнавальные», а вполне серьезные и, кстати, непьющие или малопьющие. Это Родион Раскольников, Иполлит Терентьев, Николай Ставрогин, это «наши» или «революционеры» в «Бесах», это Крафт из «Подростка», это муж Кроткой, это Иван Карамазов... Все они как будто сызмала привыкли рассчитывать и строить жизнь по часам, как настоящие горожане, *бюргеры*, а не жители усадеб, сел и похожих на большие села городков, рассыпанных по бескрайним просторам Восточно-Европейской равнины.

Кстати говоря: слово «*непьющие*» в данном случае означает «не пьющие крепкие алкогольные напитки». Герои-идеологи, они же гении событийного времени, привыкли пить ч а й, и притом чем крепче, тем лучше. Известная русская пословица «Чай не водка: много не выпьешь» к этим героям абсолютно неприменима: она слишком антиинтеллектуальна, несерьезна, «карнавальна». Вспомним главу «У наших» в романе «Бесы»: на столе у заговорщиков нет ни вина, ни закуски — зато там много чая (в сенях кипят самовары) и подается белый французский хлеб, а когда Петр Верховенский спросил коньяку (не водки!), то родственница Виргинского, разливавшая чай, брезгливо подает ему одну рюмку [6, с. 310]. Однако всех превзошел «человекобог» Кириллов, который питается крепким чаем вместо супа, а всем гостям также неизменно предлагает чаю [Там же, с. 185, 290].

Почему же именно чай сопутствует у известного рода героев Достоевского привычке все время смотреть на часы и строго рассчитывать время? Дело тут в том, что в строе русской культуры Нового времени (со второй половины XVII в.) активизируются и становятся продуктивными две важные оппозиции. В первой из них измеряемое часами векторное время (иными словами, прогресс) противостоит ахронизму, безвременью, «просто жизни» во Вселенной. Вторая оппозиция, скоррелированная с первой, состоит в противопоставлении чая водке (и шире — алкогольным напиткам). Чай, как известно, способствует концентрации воли и внимания, повышает кровяное давление; это напиток людей серьезных, целеустремленных и самолюбивых: идеологов, удачливых предпринимателей, революционеров, воров и убийц. В воспоминаниях московского купца Петра Богатырева «Московская старина» описывается некто

Александр Щелканов — «красавец собой, смелый, отчаянный до дерзости разбойник и крупный вор». Этот выдающийся деятель никогда не пил водки или вина — он пил один только чай. «Надо сказать, — замечает автор воспоминаний, — что люди подобного рода вина или совсем не пьют, или пьют очень мало, чтоб не попасть впросак» [2, с. 119].

Таким образом, люди, решающиеся совершить рискованный поступок, который требует точности и хладнокровия, не пьют водки. Они пьют чай — напиток «серьезный», способствующий рациональному мышлению и поведению. Водка же или иное вино (кстати, под словом «вино» в простонародье, у мещан и купцов подразумевалось «хлебное вино», т. е. водка) ничего общего с рациональным расчетом не имеет. Так, водка снижает уровень осознанности, расслабляет и веселит человека, рассеивает его внимание, способствует бессознательно-равнодушному или бессознательно-жестокому поведению. Ее «карнавальность» совершенно очевидна, ибо какой же карнавал без вина — виноградного или хлебного?

Блестящим свидетельством всему этому является роман Достоевского «Преступление и наказание», на котором я желал бы остановиться несколько подробнее.

В роли прагматичного рационалиста, верящего в простую и безжалостную власть социальной «арифметики», выступает в нем не только главный герой, который, подобно Кириллову или «подпольному человеку», не может жить без чая, но и целый ряд эпизодических персонажей. Приведу пример из первой части романа. За полтора месяца до убийства Алены Ивановны Раскольников зашел в трактир и по обыкновению спросил чаю. А за соседним столиком сидели офицер со студентом, тоже пили чай и говорили об арифметике: «Одна смерть и сто жизней взамен — да ведь тут арифметика!» [9, с. 54].

Гениальный писатель не только безошибочно угадал «арифметическую» соотношенность чая в строе русской культуры Нового времени, но и в полном соответствии с истиной связал чай с часами — безжалостным механическим прибором, служащим для измерения времени и рационального контроля над собственным поведением. Напомню: механические часы появились в конце XIII в., на закате Средневековья, а чай пришел в Европу (в том числе и в Россию) в начале XVII в., то же самое время, когда старый континент поверил в картезианский механистический догмат о тождестве человеческого существования с рациональным мышлением.

Не случайно Родион Романович все время смотрит на часы и дважды не без особого значения пьет чай за день до преступления. Проследим

этот событийный ряд. Герой проснулся в десять часов утра. Настасья принесла чай, но он оказался спитым, некрепким, т. е. неэффективным при таком важном деле, что, без сомнения, заранее предрекало герою неудачу. Далее Раскольников читает письмо, полученное от матери, и так расстраивается, что его «взор и мысли просили простору» [9, с. 35]. Он идет вроде бы к Разумихину, но после истории с пьяной девочкой на К-ом [Конногвардейском] бульваре [Там же, с. 39–43] заходит в харчевню уже на Петербургской стороне, выпивает рюмку водки и закусывает пирогом [Там же, с. 45]. От этой одной рюмки ему невыносимо захотелось спать, он ложится прямо под куст и видит сон о кобыленке, что «вскачь не шла» [Там же, с. 45–49]. Водка, таким образом, снижает роковую решимость героя делать «пробу» и приводит его едва ли не к метаноюе — внутреннему преображению. Но в ходе дальнейшего действия романа Достоевский внезапно подчиняет поступки Раскольникова не реалистической обусловленности конкретными обстоятельствами, а романтическому предопределению. Вместе с тем в тексте заходит речь о механически измеримом, «часовом» времени. Герой непонятно почему, делая крюк, заходит на Сенную, т. е., перейдя Неву, вновь попадает в «заколдованное место», в малую преисподнюю Петербурга — и, заметим, «было около девяти часов, когда он проходил по Сенной» [Там же, с. 51]; опять тот же самый, как и в «Белых ночах», тот же роковой час... Тогда же Раскольников слышит разговор Лизаветы Ивановны с неким мещанином о том, что завтра, «в сегом часу» Лизавета собирается уйти из дома, а ее сестра, старуха-процентщица, останется одна.

На следующее утро служанка Настасья разбудила его в *десять часов* и напоила его спитым, «недействительным» чаем [Там же, с. 55]. Сказывается нервное напряжение: чай не подкрепляет его, а наводит вещий сон. Забытье Раскольникова резко обрывается, когда часы (снова часы!) бьют шесть вечера. Начинается тот самый «семой» час, надо торопиться. Собираясь к старухе-процентщице, герой несколько раз смотрит на часы, причем его предельно «арифметическое» поведение строго мотивировано. Было пройдено 730 шагов (а сумма $7 + 3 + 0$, как известно, равна *десяти*); по дороге часы в лавочке показывали *десять минут* восьмого. Убийство произошло приблизительно в *семь тридцать* вечера — опять семерка, тройка и ноль, почти что тройка, семерка и туз в «Пиковой даме» Пушкина! Что это, интертекстуальные игры? Полностью исключить этого нельзя: проза Достоевского изобилует явными или скрытыми реминисценциями из Шекспира, Вальтера Скотта, Диккенса, Жуковского, Лермонтова и, разумеется, Пушкина. Однако более вероятным

представляется иной вариант: привыкший к точности военный архитектор в самом деле измерил количество шагов, которое должен был пройти его одержимый арифметикой герой от угла Столярного и Средней Мещанской до угла канала и Средней Подъяческой.

Что же означает вышеописанная магия цифр, обозначающая точные координаты событийного времени и пространства? Каков ее культурно-исторический генезис и почему часы, чай и «такие минутки» так важны для Достоевского и его героев?

Непосредственным источником сюжетосложения в его романах явились, кроме прочего, трагедии Шекспира и западноевропейские детективные романы (*novels of action*), а также «романы тайн» — Бульвер-Литтона, Дизраэли, Эжена Сю, отчасти Бальзака. Для всех упомянутых авторов совершенно органичным было постренессансное и, что особенно важно, *чисто городское* ощущение подчиненности пространства и места неумолимо динамичному, а иногда и катастрофичному течению «механического», измеряемого часами времени. Специфически русским элементом в романах Достоевского является не сама организация этого времени, а нечто иное. Большинство героев западных «романов действия» видят выход из положения «загнанной лошади» (типичное состояние европейца-горожанина Нового и Новейшего времени!) в возможности достичь личного счастья и успеха внутри мира, в котором время можно измерить и распланировать. В отличие от них «некарнавальные» герои Достоевского хотели бы устремиться прочь из этого постренессансного, городского и по-своему жестокого капиталистического мира. Русские герои-идеологи не верят в удачу, в счастливое разрешение жизненных проблем с часами в кармане. Любопытно, однако, что верят в это второстепенные герои Достоевского, которые ему явно симпатичны. Это Разумихин и влюбленная в него Дуня Раскольниковы. Они вполне вписываются в позитивистски организованный мир буржуазного прогресса и были бы непрочь «поработать на родной почве», к чему призывал и сам автор «Преступления и наказания» в своей пушкинской речи [8, с. 139]. Ведь этот почвеннический лозунг вполне вписывается в позитивистскую программу кропотливого труда во имя благосостояния общества и составляющих его личностей.

Вернемся, однако, к «серьезным», трагическим героям, к фанатикам идеи. Они бы согласились с Достоевским, который записал в тетради с подготовительными материалами к «Преступлению и наказанию»: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием» [10, с. 154]. Они ищут — пусть не всегда с ранних лет, а лишь после пережитых

падений и катастроф, пусть не всегда осознанно — «града грядущего», т. е. выхода или в утопический хронотоп Царства Божьего за земле, или в вечность, о которой апокалипсический Ангел с раскрытой книгой говорит: «...и времени больше не будет» (Откр. 10: 6). Это путь Раскольникова или Дмитрия Карамазова. Правда, есть и другой путь — побег в смерть. Свидригайлов, Ставрогин или Крафт, понимая, что путь очищающего душу страдания им уже не под силу, накладывают на себя руки. Иные герои сходят с ума, что также одна из разновидностей бегства от времени. Пространственным символом мира без событий и без часов предстает у Достоевского далекая запредельная земля — например, заиртышская Сибирь или даже другая планета, как в «Сне смешного человека». Чтобы попасть в утопический мир без времени, Раскольников и Соня должны переплыть широкую сибирскую реку, немного напоминающую Ахерон. Правда, перевозчика Харона в романе нет, и это свидетельствует о трезвости и рациональности утопизма Достоевского, который знает, что апокалипсический идеал безвременья тут, на грешной земле все-таки неосуществим.

Так обстоят дела, пока мы не пересечем границ художественного мира Достоевского или пока мы будем сравнивать его с близкой его сердцу и эстетическим предпочтениям западноевропейской литературой Нового времени, которая явилась порождением по преимуществу городской, «бюргерской» культуры. Но если мы начнем сравнивать его с другими русскими писателями, то обнаружится некая весьма примечательная закономерность. Очень многие герои русской классики страдают не оттого, что у них мало времени, не оттого, что ритм городской жизни уничтожает в них все человеческое (даже если им именно так и кажется — ярким примером может служить Илья Ильич Обломов), а, наоборот, оттого, что у них слишком много времени. Возьмем, к примеру, так называемых «лишних людей»: им вечно скучно, они не знают, куда себя девать, к чему приложить нерастраченные силы. Однако они чувствуют, что при избытке времени им недостает свободы, возможности *действовать* по собственной воле, а главное, благотворно *воздействовать* на окружающую жизнь. Каковы же причины? Прямого ответа на этот вопрос отечественная классика не дает, но уже первая серьезная попытка историософской интерпретации мира, в котором живут герои русской литературы (но не все герои Тургенева и не все герои Достоевского), позволяет приоткрыть завесу этой тайны.

Дело в том, что время в России не текло в одну лишь сторону — к будущему, как течет оно, по человеческим представлениям, на Западе,

начиная где-то с XIV–XV вв. Время купцов появилось в России очень поздно — не ранее второй половины XVII в., — и его господство никогда, вплоть до наших дней, не распространялось на всю территорию многонационального русского государства. За исключением нескольких оазисов бюргерства, жители которых привыкли к интенсивному труду и к разумному, а не дикому или преступному предпринимательству, — к их числу с некоторыми оговорками можно отнести две столицы, Балтийский регион, Средний Урал и черноморские порты, — Россия веками вела и ведет себя так, как будто она все еще не вышла за пределы раннего Средневековья и натурального хозяйства. На ее необъятных просторах не так трудно встретить людей, которые живут за счет того, что охотятся, ловят рыбу или выращивают овощи в огороде — не на продажу, а для самих себя. Впрочем, для тех, кто продает свой труд, натуральное хозяйство играет роль важного подспорья, помогающего прокормиться при низких заработках и высоких ценах. А ведь собиратели, охотники, рыболовы и средневековые крестьяне часов не наблюдают. Интенсификации труда и наблюдению часов не способствует также господствующее в России ортодоксальное вероисповедание, остановившееся в своем догматическом учении на уровне VIII в. и не признающее нововведений, появившихся в христианстве после Второго Никейского собора (787 г.).

Все это давно заметили выдающиеся русские мыслители-романтики западнической ориентации. В знаменитом первом «Философическом письме к даме» (1829) Петр Чаадаев саркастически констатировал, что мы, русские люди, «растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели» [20, с. 44]. В переводе на хронологический язык это означает, что время в нашей стране течет не по законам культурной эволюции, а циклически, как в живой и неживой природе. Другой скептически настроенный ультраромантик — Владимир Печерин — выразился еще точнее и интереснее: он полагал, что в России господствуют не права человека и не закон неумолимо движущегося вперед времени, а «просто исполняется вечный и непреложный закон природы, перед которым все одинаково должны преклонять голову. Это — закон географической широты» [16, с. 162]. Иными словами, суровая природа нашей родины настолько беспощадно подавляет все благородные порывы образованности и новаторства, что при въезде в страну должны быть начертаны слова, встречающие каждого, вступающего в пределы дантовского ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Таким образом, фактором, по преимуществу определяющим характер русской жизни, является не эволюция природного и культурного

пространства под действием исторического или даже событийного времени, а подчинение этого времени неписаным законам и обычаям, действующим на территории «Святой Руси», по модели «а у нас так принято и менять мы этого не будем».

К подобным, правда, гораздо более сложным и неоднозначным выводам приходит современный историк литературы Валерий Мильдон. Он, к примеру, замечает, что «хронологические отношения не интересовали Грибоедова, который словно чувствовал: ну какое время в этом мире? Здесь только вечность, то есть неподвижность, неизменность» [15, с. 44]. Воистину: «Счастливые часов не наблюдают». И это в Москве, в большом доме на Страстной площади.

А в городе Калинове, на Волге, в «Грозе» Островского? Там изобретатель-самоучка Кулигин смастерил часы и повесил на площади, да никто на них не смотрит. И ведь это купцы, для которых время — деньги и которые «по определению» должны мыслить по-бюргерски. Нет, в Калинове о времени купцов никто и понятия не имеет, и богатство приумножается не благодаря экономии времени и интенсификации труда, а несколько иным, «отеческим» способом... Или положительные герои, вызывающие симпатию и сочувствие автора и читателей? В «Грозе» это, разумеется, Катерина. Она стремится полететь, как птица: ей противен «земляной» калиновский детерминизм, ей мил воздух, газообразное состояние и чтобы в столбе света кружились ангелы Господни... И она убегает — парадоксально, как Свидригайлов или Ставрогин! — в смерть. Убегает, однако, не от проклятого времени, а от *проклятого места* и от людей, которые там живут (подробнее см.: [21]).

Обломов же (в известной степени это также положительный герой) убегает от времени купцов, подчинившего себе деловой центр Петербурга, в котором как рыба в воде чувствует себя Штольц, в суррогат Обломовки — на Выборгскую сторону, где время еще не начало двигаться вперед, где «вот день-то и прошел — и слава Богу! <...> дай Бог и завтра так!» [4, с. 129]. И там он уже не будет сетовать, спрашивая у Штольца: «Так когда же жить? Для чего же мучиться весь век?» [Там же, с. 191]. Его представление о настоящей жизни в принципе соответствует тому образу времяпровождения, который стал его уделом благодаря стараниям Агафьи Матвеевны Пшеницыной. Ему, истинному русскому человеку, хорошо там, где никуда не надо спешить, т. е. в том месте, где любое поступательное движение времени, любое существенное изменение поглощается псевдоидиллическим пространством.

В настоящей, глубинной России — стране православной, в основе своей *раннесредневековой*, ни в XIX, ни в XX в. не существовало диктатуры времени, характерной для бюргерской культуры европейского Запада. Зато, как справедливо заметил В. И. Мильдон, существовала и существует *диктатура места*, которое способно убить в человеке все благие порывы, задушить его волю и способность к плодотворному труду [15, с. 139–145]. Сказанное касается также целых периодов нашей истории, когда очередные «революции снизу» неизменно наталкивались на тупое сопротивление косной общественной среды, сущность которого объясняется структурой места, а не времени, иными словами, не спецификой данной исторической эпохи. По всей видимости, Чаадаев и Печерин во многом правы: в этих природных условиях, на этой большой, однообразно-скучной, холодной или, наоборот, знойной и засушливой равнине со значительной долей вероятности возникают столь неподвижные *общественные*, а лишь затем производные от них политические структуры, перед лицом которых европейская постренессансная модель исторического развития оказывается бессильной.

Стоит над этим задуматься. «Герой нашего времени», проникнутый фатализмом и лишь под самый конец бросающий дерзкий вызов вере в неотвратимую судьбу. «Мертвые души», оказавшиеся фаталистическими вопреки первоначальному оптимистическому замыслу. «Война и мир», герои которой долго и упорно учатся не перечить естественному порядку вещей и непреложной «народной правде». А гениальная «История одного города»? После Фердыщенко приходит Миколадзе, тупой произвол сменяется «диктатурой сердца», затем приходит однолинейный Угрюм-Бурчеев, а через неделю (после чего?) из черных туч с севера пришло *оно* и тогда в город Глухов на белом коне въехал майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский, что «сжег гимназию и упразднил науки». Благодаря сему достигнуто было желаемое: «История прекратила течение свое»... [17, с. 41, 180].

На этом безнадежном фоне «некарунальные» герои Достоевского, которые все время смотрят на часы и пьют крепкий чай, выглядят как бы не по-русски. Их экзистенциальный модус можно определить как *прометейско-фаустовский*. Он решительно противостоит привычной едва ли не для всех нас обломовщине. Однако это прометейство с чисто русской железной последовательностью доводится ими до абсурдного предела — до той самой «арифметики», о которой вспоминает студент в подслушанном Раскольниковым разговоре с офицером.

Все эти обстоятельства могут, однако, явиться основанием для некоторой надежды на счастливый исход в будущем. Если России удастся по крайней мере три поколения (около 75 лет) прожить без серьезных социальных и политических катаклизмов, то герои измеримого времени смогут сменить свой экстремизм на более рациональное отношение к жизни, не отказываясь от воли и энергии, которые являются главным двигателем человеческой истории.

-
1. *Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исайя (Белов), архим.* Догматическое богословие : курс лекций. М., 1994.
 2. *Богатырев П. И.* Московская старина // Ушедшая Москва: Воспоминания современников о Москве второй половины XIX века. М., 1964. С. 76–153.
 3. *Гершензон М. О.* Грибоедовская Москва // Гершензон М. О. Грибоедовская Москва. П. Я. Чаадаев. Очерки прошлого / сост., предисл., примеч. В. Ю. Проскуриной. М., 1989.
 4. *Гончаров И. А.* Обломов : роман в четырех частях. М., 1973.
 5. *Достоевский Ф. М.* Бедные люди // Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1972. Т. 1.
 6. *Достоевский Ф. М.* Бесы // Там же. 1974. Т. 10.
 7. *Достоевский Ф. М.* Двойник // Там же. 1972. Т. 1.
 8. *Достоевский Ф. М.* Дневник писателя. 1880 г. (август) // Там же. 1984. Т. 26. С. 129–174.
 9. *Достоевский Ф. М.* Преступление и наказание // Там же. 1973. Т. 6.
 10. *Достоевский Ф. М.* Рукописные редакции романа «Преступление и наказание» // Там же. 1973. Т. 7.
 11. *Ле Гофф Ж.* Культура средневекового Запада. М., 1992.
 12. *Лихачев Д. С.* «Летописное время» у Достоевского // Лихачев Д. С. Литература — реальность — литература : статьи. Л., 1984. С. 80–95.
 13. *Лотман Ю. М.* Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю. М. Избр. статьи : в 3 т. Таллин, 1992–1993. Т. 3. С. 96–106.
 14. *Мандельштам О. Э.* Чаадаев // Мандельштам О. Э. Слово и культура : статьи. М., 1987.
 15. *Мильдон В. И.* Открылась бездна... : Образы места и времени в классической русской драме. М., 1992.
 16. *Печерин В. С.* Замогильные записки (Apologia pro vita mea) // Русское общество 30-х годов XIX в. : люди и идеи : мемуары современников / под ред. И. А. Федосова. М., 1989.
 17. *Салтыков-Щедрин М. Е.* История одного города // Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки. М., 1975.
 18. *Слонимский А.* «Вдруг» у Достоевского // Книга и революция. 1922. № 8. С. 9–16.

19. *Топоров В. Н.* Еще раз об «умышленности» Достоевского // *Finitis duodecum lustris* : сб. ст. к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана / редкол. И. Г. Исаков и др. Таллин, 1982. С. 126–132.

20. *Чаадаев П. Я.* Статьи и письма / сост., вступ. ст. и коммент. Б. Н. Тарасова. 2-е изд., доп. М., 1989.

21. *Щукин В. Г.* Заметки о мифопозитике «Грозы» // *Вопр. лит.* 2006. № 3 (май — июнь). С. 180–195.